

Алексей Митрофанов
Дмитровка

Прогулки по старой Москве



Алексей Митрофанов
**Дмитровка. Прогулки
по старой Москве**

«Издательские решения»

Митрофанов А.

Дмитровка. Прогулки по старой Москве / А. Митрофанов —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-907304-4

Две улицы Дмитровки — Большая, а затем и Малая — одно из самых интересных направлений на карте города Москвы. Так случилось, что именно здесь проживало множество людей, судьбы которых были основополагающими для формирования нашего города.

ISBN 978-5-44-907304-4

© Митрофанов А.
© Издательские решения

Содержание

Благородка	6
СТО	16
Давно забытая обитель	18
Актеры у Ностица	20
Дом многих театров	26
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Дмитровка Прогулки по старой Москве

Алексей Митрофанов

© Алексей Митрофанов, 2018

ISBN 978-5-4490-7304-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Две улицы Дмитровки – Большая, а затем и Малая – одно из самых интересных направлений на карте города Москвы. Так случилось, что именно здесь проживали множество людей, судьбы которых были основополагающими для формирования нашего города. Николай Тарасов – предприниматель, меценат и человек, который в свое время буквально спас от краха Московский художественный театр. Михаил Катков – издатель и своего рода эталон интеллигента-реакционера. Сухово-Кобылин – драматург и недоказанный убийца. Петр Юргенсон – «нотный магнат». Алексей Дидуров – поэт, бескорыстный помощник начинающим талантам и вдохновитель книжной серии «Прогулки по старой Москве» – той самой, том которой вы сейчас держите в руках.

Всех не перечесть.

Но помимо жителей здесь находилось множество преувлекательнейших общественно-значимых мест. Один только литературно-художественный кружок чего стоит. Да и Благородное собрание не подкачало.

А потому и прогулка в этом направлении обещает быть весьма приятной и насыщенной.

Благородка

Здание Благородного собрания (Большая Дмитровка, 1) построено в 1787 году по проекту архитектора М. Казакова.

Идея Благородного собрания возникла много раньше, нежели сам дом. Е. Благово, московская дворянка, вспоминала: «Дворянское собрание в наше время было вполне дворянским, потому что старшины зорко смотрели за тем, чтобы не было какой примеси, и члены, призывавшие с собою посетителей и посетительниц, должны были отвечать за них и не только ручаться, что привезенные ими точно дворяне и дворянки, но и отвечать, что привезенные ими не сделают ничего предосудительного, и это под опасением попасть на черную доску и чрез то навсегда лишиться права бывать в Собрании. Купечество с их женами и дочерьми, и то только почетное, было допускаемо в виде исключения как зрители в какие-нибудь торжественные дни или во время царских приездов, но не смешивалось с дворянством: стой себе за колоннами да смотри издали. Дом Благородного собрания был издавна на том месте, где он теперь, только сперва этот дом был частный, принадлежал князю Долгорукову. Основателем Собрания был Соймонов, человек очень почтенный и чиновный, к которому благоволила императрица Екатерина; он имел и голубую (Андреевскую) ленту и в день коронации императора Павла получил где-то значительное поместье. Жена его была сама по себе Исленьева. Вот этот Соймонов-то и вздумал учредить Собрание для дворянства, и лично ли или чрез кого из приближенных вошел о том с докладом к государыне, которая дала свою апробацию и впоследствии приказала даже приобрести дом в казну и пожаловала его московскому дворянству. Дом был несравненно теснее, чем теперь.

Я помню по рассказам, что покойная матушка езжала на куртаги, которые были учреждены в Москве: барыни собирались с работами, а барышни танцевали; мужчины и старухи играли в карты, и по желанию императрицы для того, чтобы не было роскоши в туалетах, для дам были придуманы мундирные платья по губерниям, и какой губернии был муж, такого цвета и платье у жены. У матушки было платье: юбка была атласная, а сверху вроде казакина или сюртучка довольно длинного, из ста – меди стального цвета с красною шелковою оторочкой и на красной подкладке... Съезжались обыкновенно в 6 часов, потому что обедали рано; стало быть, 6 часов – это был уже вечер, и в 12 часов все разъезжались по домам. Танцующих бывало немного, потому что менюэт был танец премудренный: поминутно то и дело, что или присядь, или поклонись, и то осторожно, а иначе, пожалуй, или с кем-нибудь лбом стукнешься, или толкнешь в спину; мало этого, береги свой хвост, чтоб его не оборвали, и смотри, чтобы самой не попасть в чужой хвост и не запутаться. Танцевали только умевшие хорошо танцевать, и почти наперечет знали, кто хорошо танцует... Вот и слышишь: «Пойдемте смотреть – танцует такая-то – Бутурлина, что ли, или там какая-нибудь Трубецкая с таким-то». И потянутся изо всех концов залы, и обступят круг танцующих, и смотрят, как на диковинку, как дама приседает, а кавалер низко кланяется.

Тогда и в танцах было много учтивости и уважения к дамам».

П. Богатырев восхищался: «На углу Большой Дмитровки и Охотного ряда находится здание Российского благородного собрания. Не знаю, есть ли еще где-нибудь такой огромный зал, с такими колоннами, зеркалами и люстрами, как здесь. На огромных колоннах этого зала устроены довольно поместительные хоры. Кроме этого Большого зала, есть еще там Малый зал, тоже довольно большой, но много ниже и уже Большого; есть здесь и еще несколько зал, и великолепная круглая гостиная. В этом Собрании в шестидесятых годах была, кажется, первая в России мануфактурная выставка.

В Большом зале московское дворянство принимало государей и задавало такие балы, о которых разговоров хватало на целую зиму. Тогда так называемое высшее общество, состоящее из аристократических русских фамилий, жило еще широко, по-барски, и давало, так сказать, тон всей Москве.

В этом же зале устраивались и симфонические концерты только что основанного по мысли и под руководством Николая Григорьевича Рубинштейна Музыкального общества. Концерты эти привлекали цвет московского общества».

Именно тут устроила свою судьбу пушкинская Татьяна из «Евгения Онегина»:

Ее привозят и в Собрание.
Там теснота, волнение, жар,
Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых пар,
Красавиц легкие уборы,
Людьми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг,
Все чувства поражает вдруг.

Попасть в этот дворянский клуб было непросто. Строгие старшины отслеживали чистоту рядов. Были в Собрании постоянные члены, были и приглашенные. Разумеется, тоже дворяне. Если обнаруживалось, что постоянный член привел какого-нибудь разночинца, члена наказывали. Вплоть до исключения.

Происхождение являлось почти единственным критерием. Чем родовитее, тем лучше. Ведешь свой род с какого-нибудь там замшелого столетия – значит, достоин танцевать с императрицей. А матушка любила посещать Собрание. И в менюэте («миновете», как его в то время называли) все боялись повернуться к ней спиной. Словно в церкви к алтарю.

Но это никого не унижало. Напротив – приводило в верноподданнический восторг.

За знатность рода господам прощалось многое. Завсегдатайствовала, например, в Собрании ужасная старуха Офросимова. Все ненавидели ее. Как вцепится в какого-нибудь молодого человека или в девушку на выданье – так и пропал весь вечер. Потанцевать не даст, заставит ходить с собою под руку и будет учить уму-разуму. Дескать, и прическа не такая, и одежда, и ветер в голове... А гуляла не по краешку, как было принято в Собрании, а зигзагами через весь зал, стараясь помешать танцующим.

Тем не менее, Наталью Дмитриевну Офросимову боялись. Лучше не перечить. Знатная. От нее всего лишь прятались, старались не попасться на глаза.

Этих офросимовых хватало. «Всем в Москве правили старухи, – писал Юрий Тынянов. – Москва была бабье царство. Жабами сидели они в креслах в Благородном собрании и грозно поглядывали вокруг».

Впрочем, по отношению к царям никто не вредничал. Наоборот, боялись помешать желанию монарха. Как-то император Александр Павлович вел в танце (в первой паре, разумеется) еще одну старуху, некую Архарову. Вдруг у Архаровой стало спадать исподнее белье. Она не оконфузилась, не подала и виду – даже наступила на свою одежду.

Благороднейшее общество восприняло ее поступок, словно подвиг.

Тут, как и везде, были свои зануды и свои блистательные шалуны. Взять, к примеру, Герцена. Он вспоминал в «Былом и думах»: «Бал был в зале Благородного собрания. Я походил, посидел, глядя, как русские аристократы, переодетые в разных пьоро, ото всей души усердствовали представить из себя парижских сидельцев и отчаянных канканеров... и пошел ужинать наверх».

А, скажем, Пушкин никогда бы так не написал. Он веселья не чурался, и тому свидетельствуют даже самые нейтральные воспоминания. Например, кухни Александра Герцена, Татьянушки Пассек: «Мы увидели Пушкина с хором Благородного собрания... Пушкин стал подле белой мраморной колонны, на которой был бюст государя, и облокотился на него».

Немногие посмели бы облокотиться о такой культовый бюст. И Герцен так не поступил бы никогда. В крайнем случае, он произнес бы речь.

Кстати, по преданию, именно тут Александр Сергеевич Пушкин познакомился со своей будущей супругой (а вскоре и вдовой) Натальей Гончаровой. На балу у знаменитого танцмейстера Йогеля.

Поэт В. Филимонов писал в своей поэме под названием «Москва»:

Вот всей Москвы зимой по вторникам свиданье:
Наш Русский дом, Дворянское собрание.
Блаженство, рай годов былых,
О зала дивная, единственная в свете!
Как сладкий сон, мы помним их,
На зеркальном твоём паркете
И тихий экосез, и бысролетный вальс,
И этот польский, в добрый час,
Наш польский длинный, вечный польский!..
А эти хоры меж колонн,
Картинный вид на бальный мир московский,
На этот Руси сбор со всех сторон...

Это была главная бальная площадка города Москвы. А балы здесь любили. Бал был сказкой, мечтой, волшебством. И, в то же время, обычным явлением позапрошлого века. Ничуть не экзотичнее извозчика и кулебяки.

В девятнадцатом веке в балах заключался смысл общества. Балами жили. Без них нельзя представить дворянский быт России.

Между собой соревновались балетмейстеры. Лучшим был признан Петр Йогель, гениальнейший учитель танцев. Его балы старались, по возможности, не пропустить.

На балах заводили знакомства, решали дела, флиртовали, интриги плели. Многих они делали счастливыми. И многих, разумеется, несчастными. Где красавицы изменяли мужьям и влюбленным в них юношам? Разумеется, там, на балах. И бунинский барчук страдал в своем глухом имени, а старый верный «дядька» утешал его, как мог:

За окнами – снега, степная гладь и ширь,
На переплетах рам – следы ночной пурги...
Как тих и скучен дом! Как съезился снегирь
От стужи за окном. – Но вот слуга. Шаги.
По комнатам идет седой костлявый дед,
Несет вечерний чай: «Опять глядишь в углы?
Небось все писем ждешь, депеш да эстафет!
Не жди. Ей не до нас. Теперь в Москве балы».

События же здесь случались самые разнообразные – от легких концертов до пафосных политических акций. Вот, например, 23 апреля 1844 года именно здесь состоялся гастрольный концерт немецкой пианистки Клары Шуман. Она приехала сюда со своим мужем, известным композитором Робертом Шуманом и выступила в Благородном собрании. Разумеется, ее слу-

шали с большой приязнью. В Москве и сегодня равнодушны к заезжим артистам. А в то время, при тех «средствах коммуникации», когда о телевидении еще и не мечтали – и подавно.

Клара Шуман писала: «Приняли меня очень восторженно. Большой успех имел „Ноктюрн“ Фильда».

Ей вообще понравились Москва и москвичи.

Дворянское собрание в то время было чинным, благородным, но никак не мертвенным и не официозным. А к началу прошлого столетия распоясалось вконец.

Об избранности публики уже не приходилось говорить. Сюда пускали каждого желающего. Возникло вдруг «демократическое» сокращение – «Благородка». Да и увеселения стали совсем другими, унижительными для старой дворянской гвардии, в изумлении доживающей свой долгий век.

В конце девятнадцатого века тут, например, устраивало свое празднество Общество искусства и литературы. Мало того, что в стены Благородного собрания пустили безродных рисовальщиков и шелкоперов. Им разрешили наряжаться в жуткие карнавальные костюмы и заставить аристократические интерьеры более чем смелыми декорациями.

Впрочем, жуткими и смелыми их находили только в прошлом веке. Из нашего же времени все это воспринимается как классика, немножечко поднадоевшая со школы. Например, картины Левитана.

В Колонном зале проходили концерты «музыкалки» – московского Музыкального общества. На концертах аристократизма не было в помине. А билетов на подобные мероприятия продавали больше, чем было в зале мест. В основном сюда ходило «новое купечество» – в отличие от старого, кондового, не чуждое искусств.

Петр Боборыкин так описывал одно из здешних культурно-развлекательных мероприятий: «По мраморной лестнице Благородного собрания поднималась на другой день Анна Серафимовна – одна, без Любаши.

Она любила выезжать одна и в театр лакея никогда не брала. Только на концерты Музыкального общества ездил с ней человек в скромной черной ливрее, более похожей на пальто, чем на ливрею. Первые сени, где пожарные отворяют двери, она быстро прошла в своей синей песцовой шубе. Двери хлопали, сквозной ветер так и гулял. В больших сенях стеной стояли лакеи с шубами. Все прибывающие дамы раздевались у лестницы. Белый и голубой цвета преобладали в платьях. По красному сукну ступенек поднимались слегка колеблющиеся, длинные, обтянутые женские фигуры, волоча шлейфы или подбирая их одной рукой. На площадке перед широким зеркалом стояли несколько дам и оправлялись. Правее и левее у зеркала же топтались молодые люди во фраках, двое даже в белых галстуках. Они надевали перчатки. На этот концерт съехалась вся Москва. В программе стояла приезжая из Милана певица и исполнение в первый раз новой вещи Чайковского.

Мраморный лев глядится в зеркало. Его голова и щит с гербом придают лестнице торжественный стиль. Потолок не успел еще закоптиться. Он лепной. Жирандоли на верхней площадке зажжены во все рожки. Там, у мраморных сквозных перил, мужчины стоят и ждут, перегнувшись книзу. На стуле сидит частный пристав и разговаривает с худым желтым брюнетом в сюртуке, имеющим вид зрителя... В зеркало она видна себе вся, и за ней лестница – вниз и вверх. Парадно почувствовала она себя, жутко немного, как всегда на людях. Но ей ловко в платье, перчатки тоже прекрасно сидят, на шесть пуговиц, в глазах сейчас прибавилось блеску, даром, что плохо спала, из-под кружевного края платья видны шелковые башмачки и ажурные чулки. Никогда она еще не находила себя такой изящной. Кажется, все тяжелое, купеческое слетело с нее. Осмотрела она себя быстро, в несколько секунд, поправила волосы, на груди что-то, достала билет из кармана, скрытого в складках юбки, и легкими шагами начала подниматься... Глазам ее приятно; но уже не в первый раз обоняет она запах сапожной кожи... И чем ближе к входу в первую залу, тем он слышнее. Запах этот идет от артельщиков в сибир-

ках, приставленных к контролю билетов. Она знает отлично этот запах. Ее артельщики ходят в таких же сапогах. Она подает одному из них свой абонементный билет. Он у ней нумерованный, но в большую залу она не пойдет; хорошо, если б удалось занять поближе место, за гостиной с арками, там, где полуосвещено. Вероятно, можно. Еще четверть часа до начала».

Продолжение «экскурсии» по «Благородному собранию для разночинцев» выглядело так: «У входа во вторую продольную залу – направо – стол с продажей афиш. Билетов не продают. В этой зале, откуда ход на хоры, стояли группы мужчин, дамы только проходили или останавливались перед зеркалом. Но в следующей комнате, гостиной с арками, ведущей в большую залу, уже разместились дамы по левой стене, на диванах и креслах, в светлых туалетах, в цветах и полуоткрытых лифах.

Анна Серафимовна бросила на них взгляд боком. Она знала трех из этих дам, могла назвать и по фамилиям... Вот жена железнодорожника – в рытом бархате, с толстой красной шеей; а у той муж в судебной палате что-то; а третья – вдова или «разводка» из губернии, везде бывает, рядится, на что живет – неизвестно... Все три оглядывают ее. Ей бы не хотелось проходить мимо них, да как же иначе сделать? Виктора Мироньча и его похождения каждая знает... А ни одна, гляди, хорошего слова про нее не скажет: «Купчиха, кумушка, на „он“ говорит, ему не такая жена нужна была». Каждую складочку осмотрят. Скажут: «Жадная, платье больше трехсот рублей не стоит, а брильянтов жалко надевать ей, неравно потеряет».

Щеки сильно разгорелись у Анны Серафимовны... Она быстро, быстро дошла до одной из арок, где уже мужчины теснились так, что с трудом можно было проникнуть в большую залу. Люстры были зажжены не во все свечи. Свет терялся в пыльной мгле между толстыми колоннами; с хор виднелись ряды голов в два яруса, открывались шеи, рукава, иногда целый бюст... Все это тонуло в темноте стены, прорезанной полукруглыми окнами. За колоннами внизу, на диванах, сплошной цепью расселись рано забравшиеся посетительницы концертов, и чем ближе к эстраде, помещающейся перед круглой гостиной, тем женщин больше и больше».

И так далее.

А перед революцией Собрание и вовсе опростилось. В нем в 1911 году прошли концерты народного хора Митрофана Пятницкого. И перед публикой показывали свое умение петь «Барыню» крестьяне из Воронежской губернии.

Пресса подавала это как вполне достойное событие. Больше того, восторгалась: дескать, только на этих концертах москвичи стали «лицом к лицу с настоящими народными певцами, – теми самыми деревенскими артистами и артистками, живыми художественными традициями которых доселе держится еще на Руси старинное песенное искусство».

Словом, демократизация страны коснулась и Дворянского собрания. По сути, уничтожила его. И собрание купцов, студентов и крестьянских песенников дворянским называли только по привычке.

* * *

Как ни странно, некая общественная значимость вернулась к этому дворцу после революции 1917 года.

«Дом благородного собрания»
Культурным домом стал теперь —
Центральным домом профсоюзов, —

ликовал Демьян Бедный.

«Дом благородных союзов», – шутили скептики.

Но, несмотря на узкий профиль нового владельца, именно в этом здании проходили многие важные события. Здесь устраивались показательные суды – от полусерьезного «Разгрома

«Левого фронта»» до известных разоблачений с последующими расстрелами. А. Мариенгоф вспоминал: «О таких буйных диспутах, к примеру, как «Разгром «Левого фронта», вероятно, современники до сих пор не без увлечения рассказывают своим дисциплинированным внукам.

В Колонный зал на «Разгром» Всеволод Мейерхольд, назвавший себя «мастером», привел не только актеров, актрис, музыкантов, художников, но и весь подсобный персонал, включая товарищей, стоявших у вешалок.

Следует заметить, что в те годы эти товарищи относились к своему театру несравненно горячее и преданней, чем относятся теперь премьеры и премьерши с самыми высокими званиями.

К Колонному залу мейерхольдовцы подошли стройными рядами. Впереди сам мастер чеканил мостовую выверенным командорским шагом. Вероятно, так маршировали при императоре Павле. В затылок за Мейерхольдом шел «знаменосец» – вихрастый художник богатырского сложения. Имя его не сохранилось в истории. Он величаво нес длинный шест, к которому были прибиты ярко-красные лыжные штаны, красиво развевающиеся в воздухе.

У всей этой армии «Левого фронта» никаких билетов, разумеется, не было. Колонный был взят яростным приступом. На это ушло минут двадцать. Мы были вынуждены начать с опозданием. Когда я появился на трибуне, вихрастый знаменосец по знаку мастера высоко поднял шест. Красные штаны зазмеились под хрустальной люстрой.

– Держись, Толя, начинается, – сказал Шершеневич.

В ту же минуту затрубил рог, затрещали трещотки, завывли сирены, задрезжали свистки.

Мне пришлось с равнодушным видом, заложив ногу на ногу, сесть на стул возле трибуны.

Публика была в восторге. Скандал ее устраивал значительно больше, чем наши сокрушительные речи.

Так проходил весь диспут. Я вставал и присаживался, вставал и присаживался. Есенин, засунув четыре пальца в рот, пытался пересвистать примерно две тысячи человек. Шершеневич философски выпускал изо рта дым классическими кольцами, а Рюрик Ивнев лорнировал переполненные хоры и партер.

Я не мог не улыбнуться, вспомнив его четверостишие, модное накануне революции:

Я выхожу из вагона
И лорнирую неизвестную местность.
А со мной – всегдашняя бонна —
Моя будущая известность.

Докурив папиросу, Шершеневич кисло сказал:

– «Разгром» не состоялся».

Здесь выставляли на «последнее прости» гробы с великими усопшими. Первым из удостоившихся этой почести был Петр Кропоткин.

После встречи гроба с телом на Савеловском вокзале (последние годы великий Кропоткин провел в подмосковном Дмитрове) его перенесли на Большую Дмитровку, в Колонный зал Дома Союзов, где и установили для прощания. Это было началом традиции. До Кропоткина подобных актов – с организованной очередью, почетным караулом и прочей соответствующей атрибутикой – здесь не устраивали. Но с февраля 1921 года это место стало постоянным.

Два дня гроб стоял в Колонном зале. Количество пришедших попрощаться с видным анархистом исчислялось тысячами. Это были и делегации от заводов, общественных и государственных организаций, и самостоятельные граждане, представлявшие в том зале лишь самих себя. В почетном карауле большей частью находились анархисты.

Под конец церемонии произошла неприятная история. Дочь Петра Алексеевича Александра попросила Ленина «освободить хотя бы на день похорон, для участия в них тех товарищей анархистов, которые находятся в данный момент под арестом».

В просьбе ей было отказано. Но Александра Петровна была истинной дочерью своего отца и категорически заявила, что «все коммунистические венки будут сняты с гроба, если анархисты не будут выпущены на похороны».

На такое власти, конечно, пойти не могли. И анархисты были выпущены, что называется, «под честное слово». Все прекрасно понимали, что это самое «честное слово» подкрепляется возможностью очередного витка государственного террора: за каждого сбежавшего будут расстреляны десятки его невиновных соратников. Поэтому все анархисты после похорон вернулись в тюрьмы.

Здесь неоднократно выступал сам Ленин. Вот, например, одна из многочисленных замечаний, посвященных одному из многочисленных таких событий, помещенная в «Вечерке»: «Блестящий Колонный зал Дома союзов переполнен рабочими депутатами. На хорах полно гостей. В зале говорят о предстоящем выступлении тов. Ленина. Все с нетерпением ждут появления вождя русского пролетариата, который впервые после своего выздоровления должен выступить перед представителями рабочих организаций. Появление Владимира Ильича было встречено громом аплодисментов. Весь зал стоя приветствовал вождя мирового пролетариата. Приветствия вылились в форму бурной овации, длившейся несколько минут».

Вот еще одна история про Ленина, описанная публицистом Ильей Шнейдером: «Я объявил *pas de deux* и, сбегаю по приставленной к эстраде лесенке, заметил сидевшего на ее ступеньках человека, быстро писавшего что-то в записной книжке».

Немного погодя я снова вышел из круглого зальца к эстраде и заметил, что человек этот, повернув голову к танцующим, смотрит на заканчивающееся *adagio*, а потом внимательно следит, как Гельцер проводит в стремительном темпе свою вариацию.

Под гром аплодисментов балерина сбежала с лесенки. Человек, сидевший на ступеньках, повернул вслед Гельцер голову, похлопал в ладоши и улыбнулся.

Я взглянул на его лицо и прирос к паркетному полу: прямо передо мной на расстоянии каких-нибудь двух-трех шагов сидел Ленин!

Я уже не видел ни мужской вариации, ни коды, ни финала, я видел одного только Ленина, который продолжал писать и время от времени взглядывал на сцену.

Мое сердце колотилось, я не мог отвести взгляда от такой знакомой по портретам фигуры Владимира Ильича, его головы, большого лба, от усов и бородки, удививших меня своим рыжеватым цветом, и не верил своим глазам, не верил, что наяву, так близко вижу Ленина.

Гельцер и Тихомиров сбежали с лесенки, и Ленин снова заулыбался и захлопал в ладоши. Потом он встал и, глядя в свою записную книжку, прошел в дверь, за которой стрекотали пишущие машинки».

А вот и другое событие: «Январь 1924 года. Мимо гроба с телом Ленина проходят люди. Газета «Беднота» охотно публикует диалоги между подобными паломниками: «Встречаю орловского мужика. Здравомоемся. Спрашиваю:

– Вы, товарищ Маянцев, давно в Москве?

– Какое, только вчера приехали, вот с ними, – указал он на стоящих четырех мужиков.

– Мы от «мира», целая деревня сделала нам сбор на дорогу. Бабы сносили в сборную избу полотенца, масло, яйца и строго-настрого наказывали посмотреть хоть на умершего Ильича. Да и не только посмотреть, а проводить до могилы».

Уже пятый час стоим, а теперь, кажись, недолго – вон уж дом-то близко».

Кого только не было среди тех, кто пришел попрощаться. Был, кстати, и писатель Михаил Булгаков. В два захода. Его супруга вспоминала: «24 января всю ночь простояли в Дом Союзов, но так и не попали, вернулись закоченевшие домой. Булгаков потом пошел один и попал».

Вера Инбер посвятила этому событию стихотворение «Пять ночей и дней»:

И прежде чем укрыть в могиле
Навеки от живых людей,
В Колонном зале положили
Его на пять ночей и дней...
И потекли людские толпы,
Неся знамена впереди,
Чтобы взглянуть на профиль желтый
И красный орден на груди.
Текли. А стужа над землею
Такая лютая была,
Как будто он унес с собою
Частицу нашего тепла.

И пять ночей в Москве не спали
Из-за того, что он уснул.
И был торжественно-печален
Луны почетный караул.

До могилы, куда так стремился проводить вождя товарищ Маянцев и которую прочла поэтесса В. Инбер, дело не дошло: здесь же было принято решение построить мавзолей. Сюда же доставили и архитектора Щусева, которому выпала честь решать эту нелегкую задачу.

А 7 февраля 1924 года в Колонном зале Дома Союзов состоялся пленум Моссовета, посвященный памяти Ленина.

Пленум постановил:

«1. Оставить Владимира Ильича Ленина навсегда в списках членов Моссовета как депутата трудящихся масс.

2. Номер 1 членского билета, присвоенного Владимиру Ильичу, в дальнейшем не выписывать другим избранным депутатам Совета».

До сравнительно недавних пор все это выполнялось с большой тщательностью.

При советской власти залы бывшего Дворянского собрания все чаще использовались в качестве общественно-политической площадки первого разряда. Это началось еще в 1919 году, когда здание передали профсоюзам. Сам Ленин выступал тут около пятидесяти раз. Затем трудящиеся массы прощались в этих залах с телом Ильича. Затем – траурный пленум Моссовета. А после события посыпались одно за другим.

Тут, к примеру, в 1934 году прощались с Сергеем Мироновичем Кировым. Его убийство приписывалось «шайке троцкистско-зиновьевских бандитов» – так выражались официальные средства массовой информации. А других тогда не было.

А спустя два года в этих стенах «многомиллионные народы Советского Союза... вынесли свой приговор главарям подлых банд фашистских агентов – троцкистско-зиновьевским шпионам, вредителям, диверсантам – Зиновьеву, Каменеву, Пятакову, Серебрякову и другим».

В это время здесь властвовал другой уже вождь – несколько иного склада, с несколько иной харизмой. Анатолий Рыбаков писал в романе «Тридцать пятый и другие годы»: «14 мая 1935 года Сталин приехал в Колонный зал Дома союзов на торжественное заседание, посвященное пуску Московского метрополитена.

Глядя на сидевших в зале молодых людей – строителей метро, на их радостные, веселые лица, обращенные только к НЕМУ, ждущие только ЕГО слова, он думал о том, что молодежь за НЕГО, молодежь, выросшая в ЕГО эпоху, – это ЕГО молодежь, им, детям из народа, он

дал образование, дал возможность осуществить свой трудовой подвиг, участвовать в великом преобразовании страны. Этот возраст, самый романтичный, навсегда будет связан в их памяти с НИМ, их юность будет озарена ЕГО именем, преданность ЕМУ они пронесут до конца своей жизни.

Его мысли прервал Булганин:

– Слово имеет товарищ Сталин.

Сталин подошел к трибуне.

Зал встал... Овация длилась бесконечно...

Сталин поднял руку, призывая к спокойствию, но зал не утихал, все хлопали в такт, это было похоже на удары по громадному барабану, и каждый удар сопровождался громовым скандированием одного слова: «Сталин!», «Сталин!».

Сталин привык к овациям. Но сегодняшние овации были особенными. Его приветствовали не чиновники, не комсомольские бюрократы, а простые рабочие – бетонщики, проходчики, сварщики, слесари – строители первого в стране метрополитена. Это народ, лучшее из народа и будущее народа.

Аплодисменты сотрясали зал, – юноши и девушки вскакивали на кресла, кричали: «Да здравствует товарищ Сталин!», «Великому вождю товарищу Сталину – комсомольское ура!».

Действовал здесь театр под названием «Рабочий отдых». «Театр своими пятью бригадами концертно-эстрадного характера и двумя бригадами кукольного театра обслуживает преимущественно дома отдыха», – сообщала реклама. В репертуаре же были спектакли: «Индульгенция», «Крепи Осоавиахим», «Гармонь», «Бравый солдат Швейк», «Канитель» (по Чехову) и «Неудачный день» (Зощенко). Можно сказать, репертуар перекрывал весь существовавший в то время драматургический диапазон.

Здесь же, в Доме Союзов проходил показательный процесс над так называемыми врачами-вредителями.

В Великую Отечественную именно Дом Союзов был единственной в Москве отапливаемой концертной площадкой. В первую очередь поэтому здесь состоялась московская премьера знаменитой Седьмой симфонии Д. Шостаковича. Здесь же проходили репетиции. Автор писал: «Объединенный оркестр Большого театра и Всесоюзного радиокомитета закончил работу над моей Седьмой симфонией. Симфония выучена превосходно и исполняется мастерски, с настоящим артистическим воодушевлением... Я прослушал все репетиции, в том числе и генеральную, и я счастлив, что мой авторский замысел на концерте будет так хорошо донесен до слушателя... С большим волнением и радостью я жду тот день, когда в Москве, в столице нашей родины, прозвучит моя Седьмая симфония».

Там же, спустя десятилетие, композитор принял сразу две награды – звание народного артиста СССР и премию «За укрепление мира между народами». С прочувственной речью выступил И. Эренбург. Он сказал: «Ваша музыка обошла пять частей света, и повсюду она утверждала, что человек может понять другого. Вы приблизили миллионы людей к пониманию других и этим помогли народам отстоять их высшее благо – мир. Вы сделали это, не отрекаясь от сложности человека и от сложности искусства, не прибедняя и не упрощая душевный мир наших современников».

Шостакович же отвечал: «Мне сегодня хочется с глубоким удовлетворением отметить радующие нас успехи сторонников мира во всех станах. Несмотря на огромные трудности, на злобное противодействие алчных и жестоких агрессоров, труженики всех стран и всех народов героически укрепляют великое и благородное дело мира, преграждая тем самым путь губительной, смертоносной войне. Высокая награда обязывает меня бороться за мир и дружбу между народами так, чтобы всегда с честью носить высокое звание сына советского народа, стоящего во главе движения борьбы за мир и дружбу».

Потрясающе непробиваемые штампы советских времен.

Но сегодня советской эпохи в жизни дома как будто и не было. Здесь все так же поют и танцуют, как пели и танцевали во времена гастролей Клары Шуман.

СТО

Дом Совета Труда и Оборона (Охотный ряд, 1) построен в 1935 году по проекту архитектора А. Лангмана).

В начале двадцатого века (и, в частности, в первые годы после революции) сам Охотный ряд был двусмысленным местом. С одной стороны, грязный, антисанитарный рынок, мало-воспитанные продавцы и покупатели, словом – тяжелое наследие царского прошлого во всей своей сомнительной красе. С другой же стороны – самый что ни на есть исторический центр с более или менее, но все же ценными памятниками архитектуры и культуры прошлого. То есть, с одной стороны, надо, вроде бы, все поносить. С другой – не стоит.

Перевесил первый аргумент. Но тогда, в двадцатые, ревнители истории сопротивлялись. Игорь Грабарь писал: «В последнее время ходили слухи о чудовищном проекте сломки... здания и постройки на всем протяжении от Дома Союзов до Тверской гигантского небоскреба для Госбанка. Слухи эти встревожили всех любителей московской старины. Действительно, что может быть нелепее с точки зрения азбуки целесообразного городского строительства, как это ненужное строительное уплотнение и без того уплотненного центра, с неизбежным затемнением окружающей местности. Не застраивать небоскребами надо этот центр, а наоборот, раскрыть его следует, удалив мешающие наросты, облепившие со всех сторон усадьбы Голицына и Троекурова, и разбив здесь сквер с чудесной, единственной архитектурной перспективой. Когда этот сквер будет разбит, он объединит в одно целое как эти два замечательных дома, так и соседний Дом Союзов... На месте грязных, позорных для мирового города задворков появится чудесный уголок, достойный Москвы, кующей новую жизнь, но охраняющий старину».

К мнению Грабаря не прислушались. Палаты Троекурова остались (их по сей день видно от Георгиевского переулка), а голицынский дворец и многое другое начали сносить.

Общественное мнение смирилось с этим фактом и переключилось на другие проблемы. Несмотря на то что эти палаты необычайно поражали москвичей и гостей города. К примеру, французский посол де Невиль уверял: «Дом Голицына – один из великолепнейших в Европе». А многие и вовсе называли это здание не иначе как Восьмое чудо света.

Чудо, однако же, сменилось на другое. Путеводитель по Москве 1937 года писал: «По другую сторону Охотного Ряда одно из красивейших зданий новой Москвы – Дом Совнаркома СССР, построенный в 1935 г. по проекту архитектора А. Я. Лангмана. Светло-серый фасад дома с лепным гербом Советского Союза с трех сторон облицован натуральным, так называемым протопоповским камнем. Цокольная часть и три входа выложены лабрадором и карельским гранитом. Здание очень хорошо отделано внутри».

По непонятным причинам тот дом сделался притягательным для людей искусства, при том самых разных профессий. В частности, художник Юрий Пименов изобразил его на заднем плане своей картины «Новая Москва». Архитектор Гольц включил его в четверку основных архитектурных достижений «молодой страны Советов»: «У нас есть хорошее, настоящее, новое – наше. Есть в Доме СТО, есть в метро, на канале имени Москвы и на выставке». Писатель же Евгений Габрилович вроде описывал гостиницу «Москва», однако речь вел все равно о доме Лангмана (в то время занятом другой структурой): «Такси останавливается у подъезда, украшенного бронзой и мрамором. Приезжий вступает в вестибюль... Номер гостиницы... Приезжий раздвигает штору. Он видит Охотный ряд. Огромный дом СНК высится перед глазами... Дом союзов – столь величественный среди былых охотнорядских лачуг и столь приземистый сейчас, в окружении великанов. Таков Охотный ряд наших дней».

Искусствовед М. А. Ильин писал: «Устремленные вверх формы здания, спокойное, даже торжественное членение стен лопатками, большие широкие окна, как и завершение центральной части, где расположен государственный герб, – все говорит, что перед нами крупное общественное, государственное здание. Оно построено в 1932—1935 годах по проекту архитектора А. Лангмана. Сооружением б. дома Совета Труда и Оборона было положено начало реконструкции старого Охотного ряда и центра столицы. Облицовка стен здания светлым известняком, а цоколя гранитом усиливает впечатление монументальности».

Дом СТО (популярное в то время сокращение: от Совета Труда и Оборона) проектировался в годы, когда на смену архитектурным приемам и формам 20-х годов стали приходиться формы классики, что должно было придать советской архитектуре большую величественность и выразительность. Хотя Лангман и использовал отдельные классические элементы, как каннелированные лопатки и аттик на фасаде, но он не пошел по пути непосредственного переноса в архитектуру форм прошлого. Государственная Дума – строгое, сдержанное по архитектуре здание.

Даже такой, казалось бы, далекий от идеологии писатель, как Юрий Нагибин, говорил о здании: «Этот дом по благородству и по простоте форм едва ли не самое удачное в Москве создание современной архитектуры».

Вошло это здание и в московский фольклор. По легенде, оно было заминировано в 1941 году, когда возможность сдачи города немецкой армии была реальной, а разминировано только спустя сорок лет – забыли. Чудесным образом взрывчатка все это время пролежала в здании тишайшим образом.

Давно забытая обитель

Здание Центральной московской электростанции (Большая Дмитровка, 3/5) было построено в 1888 году по проекту архитектора В. Шера.

Это место сделалось известным еще в шестнадцатом столетии: здесь размещалась Дмитровская слобода, в которой выделялся среди прочих богатый двор Юрия Захаровича Кошкна-Кобылина, дяди царицы Анастасии Романовны. Когда Юрий Захарович скончался, тетушка той же царицы Феодосия Юрьевна Романова устроила вместо двора женский Георгиевский монастырь (в то время Юрий и Георгий считалось одним и тем же именем).

Зато некрополь здесь был если и не царский, то не слишком далеко от царского ушедший. В этом монастыре, к примеру, захоронен был Никита Зотов, думный дьяк, первый учитель Петра Первого. Тот самый легендарный деятель, о котором Николай Карамзин говорил: «А вы задумайтесь, разве это не примечательно, что рядовой дьяк из приказов, выбранный в школьные учителя царским детям, мог дать царевичам представление не только о грамоте, но и о литературе – российской литературе, которая еще только становилась общеизвестной потомкам и узнаваемой».

Кстати, этот самый Зотов был одновременно и учителем, и собутыльником царя – во «всешутейшем и всепьянейшем соборе» он носил прозвище «архиепископ Прешпургский, всея Яузы и всея Кокуя патриарх» или просто: «святейший и всешутейший Аникита».

Там же, по соседству с «Аникитой» лежал князь-кесарь Федор Ромодановский, один из самых высокопоставленных придворных при Петре Великом. Никто, даже сам царь не позволял себе въезжать к нему на двор – все посетители оставляли свой транспорт снаружи. А князь Б. Куракин о нем говорил: «Сей князь был характеру партикулярнаго; собою видом, как монстра; нравом злой тиран; превеликой нежелатель добра никому; пьян по вся дни; но его величеству верной так был, что никто другой. И того ради, увидишь ниже, что оному (Петр Великий. – АМ.) во всех деликатных делах поверил и вручил все свое государство».

А Ромодановский, меж тем, иной раз пререкался с самим государем. Однажды, например, царь Петр ждал в Воронеже двух корабельных мастеров – Склеява и Верещагина, однако выяснилось, что они задержаны в Москве князем Ромодановским. Царь писал ему: «В чем держат наших товарищей Склеява и Лукьяна? Зело мне печально! Я зело ждал всех паче Склеява, потому что он лучший в сем мастерстве, а ты изволил задержать. Бог тебя судит! Истинно никого мне здесь нет помощников. А чаю, дело не государственное. Для Бога освободи (а какое до них дело, я порука по них) и пришли сюды».

И князь Ромодановский отвечал: «Склеява и Верещагина я не задержал: только сутки у меня ночевали. Вина их такая: ехали Покровскою слободою пьяны и задрались с солдаты Преображенского полку: изрубили двух человек солдат, и по розыску явились на обе стороны неправы. И я, розыскав, высек Склеява за его дурость, также и челобитчиков, с кем ссора учинилась... В том на меня не погневишь: не обык в дуростях спускать, хотя б и не такого чину были».

Третьим обитателем сего блистательного пантеона был екатерининский фельдмаршал А. Б. Бутурлин, начавший карьеру денщиком Петра Первого и дослужившийся чуть ли не до горних высот. О нем один из современников писал: «Великоревностен, верен и неусыпен был, как истинный патриот, во исполнении высоких должностей государям своим и отечеству, сей великоименитый и приснопамятный муж толико мужествен, готов и неустрашим, как достойный христианин оказался».

И, разумеется, тремя этими государственными деятелями список знаменитостей, схороненных на здешнем кладбище, отнюдь не ограничивается.

После московского пожара 1812 года монастырь был упразднен, а главный храм обители, тоже Георгиевский, сделался обычным приходским и просуществовал до 1930 года. Здесь, кстати, в 1922 году отпевали режиссера и певца Оленина. Отпевали с размахом. Один из очевидцев вспоминал: «Я был у Георгия. Полна церковь артистической братией (и сестрами). Видел, между прочим, Станиславского, Москвина, С. И. Зимина и Трубина. Почему-то не артисты пели, а хор Данилина под его управлением. Пел замечательно. Еще бы, ведь и „во гробе спящий“, и его товарищи такие знатоки пения, каких Данилин и в Охотном ряду у Пятницы не увидит».

А здание, ныне стоящее на углу Георгиевского переулка и Большой Дмитровки, было построено в 1888 году и сразу же сделалось популярным среди москвичей. Не удивительно, ведь ничего подобного в городе раньше не было. А размещалось здесь учреждение таинственное – электростанция. Первая в Москве.

Поскольку она была первая (а значит, на момент открытия – единственная), то называлась просто – Городская или же Георгиевская. Мощность у нее была всего лишь 800 лошадиных сил. Это, выражаясь современным языком, 612 киловатт. Однако же в те времена лошадь была понятнее, чем киловатты, а потому и мощность новой станции была округлена как раз до сотни лошадиных сил.

Со временем построили новую, мощную станцию на берегу Москвы-реки. Здесь же некоторое время устраивали выставки, затем оборудовали гаражи, а в 1924 году открыли первый (снова – первый) автобусный парк.

Появление в городе нового транспорта поначалу казалось явлением не слишком значительным. В частности, «Вечерняя Москва» его и вовсе не заметила. Ее беспокоили дела поважнее – «Адвокаты отравляют дух», «Порча телефонной сети» и «Движение заразных болезней». Зато «Рабочая Москва» отметила это событие рекламным объявлением.

Первые автобусы главным образом предназначались для приезжих. Их было восемь штук, и они ходили от Казанского вокзала к Белорусскому. Но не по прямой, а через центр – Мясницкая, Кузнецкий мост, Охотный ряд и дальше по Тверской.

Поэты Москвы воспевали трамвай (в первую очередь, «Аннушку»), троллейбус (ставший уже хрестоматийным «синий троллейбус» Окуджавы), метрополитен как самый прогрессивный транспорт. Про автобус же молчали. Он был не для романтики, а для того, чтобы людей возить. И с этой ролью достойно справлялся.

Хотя в автобусах, как и в трамваях, люди проводили вполне существенную часть своего дня, так же знакомились, ругались, воровали друг у друга деньги, дремали и читали книжки. Было время, по Москве ходили даже двухэтажные автобусы. Но от этого английского пиджонства быстро отказались.

Ныне в этом здании находится выставочный зал «Новый манеж».

Актеры у Ностица

Дом графа Ностица (Большая Дмитровка, 4/2) построен в 1900-е годы по проекту архитектора А. Мейснера.

Вообще-то этот дом гораздо старше. Внутри его находится скрытое мейснеровским фасадом двухэтажное строение, некогда принадлежавшее семье Раевских. Сюда к своему приятелю Александру Раевскому иной раз заходил Пушкин. И даже посвятил хозяину стихотворение «Демон»:

Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осень,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу холодный яд.

Но в действительности Пушкин все-таки любил своего «злобного гения» – несмотря на всю его язвительность и видимую отстраненность.

Тут проживало множество актеров – и до революции, и после. Москвин, Вишневский, Горский, Леонидов, Яблочкина. Причина, в общем-то, проста. Вокруг – обилие театров, притом самого первейшего разбора. Здесь проживал актер Качалов. Сын его, В. Шверубович (что не удивительно, Качалов – псевдоним) принимал пусть и пассивное, но постоянное участие в актерской жизни. В результате он оставил потрясающие мемуары: «То ли родители меня считали глупее, чем я был, то ли просто по легкомыслию и молодости они не задумывались о том, что можно и чего нельзя говорить при четырехлетнем ребенке, – не знаю. Но говорили при мне обо всем, и я все понимал. Правда, многое, почти все, я понимал наизусть или, во всяком случае, очень неправильно. После полусотни (с большим гаком) лет трудно восстановить в памяти детские представления, но некоторые каким-то чудом еще всплывают в памяти...»

Постом в Москву приезжали «на бюро» актеры из провинции. Приезжали цветущими, нарядными. Мужчины носили цепочки с брелоками, золотые пенсне, перстни с печатками, щеголяли серебряными портсигарами с массой золотых монограмм, спичечницами с эмалью, тростями с ручками в виде серебряной русалки. Галстуки были заколоты золотыми булавками с жемчужиной или камешком. Рассказывая о своих триумфах, они рокотали хрипловато-бархатными басами и, «скромно» прерывая себя жестом, стучали по столу твердо накрахмаленными круглыми манжетами, в которых позвякивали большие тяжелые запонки.

К нам они приходили с цветами, коробками конфет, щепочными корзиночками с пирожными и птифурами; мне лично приносили какую-то особенную грушу, какой-нибудь «дюшес», причем подчеркивалось: «с твою голову». Женщины звенели браслетами, тонкими пальцами перебирали кольца, из высоких причесок падали черепашковые шпильки («Поклонника потеряете!» – «Ах!» – Страдальчески-загадочные улыбки морщили губы, подтекст: «Не страшно, их столько!...»).

Здесь, у Шверубовичей прятался от полиции Бауман. Сын актера писал: «Помню рассказ, почти сказку, которую мне рассказывала мать, сдерживаясь, чтобы не заплакать, что с ней случилось тогда очень, очень редко: она была совсем не слезлива. Рассказ был о добром человеке, за которым гнались враги; он убежал от них и долго ходил, больной и голодный, по улицам

под дождем и снегом, в ветреную ночь поздней осени. Но он знал, что есть один дом, где его примут, обласкают, обогреют, накормят, напоят горячим чаем с малиновым вареньем и уложат спать в чистую, теплую постель под толстое пушистое одеяло. Там он будет в безопасности, ни один враг не будет знать, где он, там он сможет отдохнуть и подлечиться. Он уже предвкушал все это, когда поднимался по лестнице этого дома, но, когда позвонил и ему отворили, женщина, встретившая его, задала ему какие-то нелепые, непонятные вопросы и, еле выслушав его сбивчивые, бестолковые ответы, закрыла дверь перед его носом. Он, шатаясь от слабости, спустился и снова вышел под снег и дождь, но надежды на приют у него уже не оставалось.

Самое для меня тогда непонятное было то, что мать моя, такая беспощадная ко всем трусам, безжалостным, на мое возмущение и злобные слезы по адресу этой женщины сказала: «Она не виновата, она иначе не могла».

Это была не сказка – так оно было на самом деле: мать обещала принять и спрятать человека, который придет к ней в ту ночь, но он должен был произнести определенным образом построенную фразу-пароль, который Мария Федоровна Андреева заставила мать вы зубрить абсолютно точно наизусть и велела никого другого, точно не знающего этот пароль, допустившего малейшую ошибку в его произнесении, не впускать. Большой Бауман – а это был он – забыл пароль, и мать его непустила. Она была права: это мог быть охранник, и Бауман, придя после него, попал бы в ловушку. Но мать почувствовала, что пришел тот, кого она ждала. Она, выждав какое-то время, окольными путями помчалась к Марии Федоровне, рассказала ей о внешности приходившего, и та с огромным трудом, после ночи беготни по всей Москве, под утро разыскала Николая Эрнестовича в каком-то извозчичьем трактире, напомнила ему пароль, и когда он вторично пришел в наш дом, то был принят и прожил у нас несколько недель».

Атмосфера в доме у Качалова была настолько доверительная и простая, что сын его сдружился с революционером, скрывающимся здесь от правосудия: «Помню... смешливого „дядю Тигра“, как я его почему-то называл, веселую возню с ним, щекотку от мягкой бородки, которая попадала мне за шиворот, когда он, изображая зверя, загрызал меня – охотника. Ярче всего помню веселые, совсем не страшные глаза „зверя“ и щекотно-ласковую бородку – ведь бороды в нашем актерском доме были редкостью».

Этим «Тигром», собственно, и был Николай Бауман.

Кстати, удобное на первый взгляд местоположение дома Ностица в революцию вдруг обернулось неприятной стороной: «В декабре, когда началось вооруженное восстание, мы жили в самом центре города, дом наш смотрел на боковой фасад Большого театра, на боковой фасад Солодовниковского театра (где была опера Зимина) и на Благородное собрание (ныне Дом Союзов). И хотя окна нашей квартиры выходили во двор, место казалось уж слишком центральным и потому опасным. Говорили, что эсеры-боевики заняли Большой театр и укрепляют его, что верные правительству войска будут разносить его из пушек; говорили, что в Благородном собрании революционерами спрятана пушка, которая будет стрелять по войскам».

Но ничего, дом выстоял. А в короткий промежуток относительного спокойствия между двумя революциями вновь сделался одним из притягательнейших уголков Москвы. Во всяком случае, квартира Шверубовичей. Вадим Васильевич писал: «Дом моих родных был всегда... открытым домом. И. М. Москвин называл его «Бубновским бесплатным трактиром» («На дне»). Народ бывал почти каждый вечер, вернее, каждую ночь. После спектакля, часам к двенадцати, приходили к нам ужинать и сидели часов до двух-трех. Не знаю, много ли пили, думаю, что не особенно, так как пьяных не бывало, но вино (вернее, водка и коньяк) присутствовали обязательно. Еда была несложная, то, что оставалось от обеда, и селедка, огурцы, маринады. Часто гости приносили с собой какие-нибудь деликатесы: кто украинское сало, кто замороженные сибирские пельмени, волжскую стерлядь, петербургского сига, рижские копчухи или угри. Эти вещи ценились, именно если были привезены кем-нибудь из этих мест,

хотя, вероятно, ими торговали и в Москве. Отцу, например, приезжие из Вильно всегда привозили литовскую полендвицу, она у нас не переводилась.

Кроме этих еженочных сидений раза три-четыре в сезон устраивались большие вечера уже с приглашениями и с подготовкой. Бывало по двадцать пять – тридцать человек. Мать тщательно занавешивала окна и останавливала часы, чтобы рассвет и стрелки часов не разогнали гостей. Видимо, бывало очень весело и интересно, потому что засиживались до позднего утра – расходились, когда надо было идти на репетиции или на утренние спектакли. Меня часто переселяли на эту ночь куда-нибудь к знакомым, чтобы мое присутствие не стесняло гостей и чтобы я мог нормально спать. Иногда же утром, когда мне не удавалось устроить ночлега вне дома, я после почти бессонной ночи (так как заснуть при шуме споров, пении, музыке было трудно) выходил в столовую – там еще пили кофе и спорили об искусстве, боге, поэзии одни, пели под гитару другие, дремали на диване в ожидании, пока подойдет время идти на работу, третьи. В разные годы в нашем доме бывали многие люди театра и литературы».

Впрочем, о еде – подробнее: «Ели и пили, конечно, много. Вечера матери славились вкусом, обилием еды и питья. Еще накануне мать делала свой знаменитый «соус провансаль», который подавался и к заливной белуге, и к раковым шейкам, вареным в вине, и этим же соусом заправлялся грандиозный салат. Пили водку и заготовленный в двух ведрах крюшон из белого вина, фруктовых отваров и шампанского. К концу ужина пили кофе с коньяком, утром – чай и опять водку под яичницу с черным хлебом. Стоили эти вечера по сто пятьдесят – двести рублей каждый. Вообще пропивали, вернее, проугащивали очень много денег. Это видно из того, как строился бюджет. Отец получал сначала около тысячи, а потом и тысячу рублей в месяц, на все хозяйство мать брала у него триста рублей – их хватало на квартиру с отоплением и освещением (сто двадцать рублей в месяц), на прислугу (сорок рублей), на еду (около ста рублей), на мою учебу (гимназия, языки) и мелкие расходы. Жалованье матери шло на ее одежду и карманные расходы. Значит, семьсот рублей в месяц отец тратил на свой и мой гардероб и на свои «карманные расходы» – из них оплачивались все вечера, из них он тратил на «в долг» (он очень много раздавал), на чаевые, извозчиков, на все развлечения и подарки. В общем, на радость жизни. Не откладывали ни одного рубля. Ничего «ценного» не покупали, даже книги и картины были все дареные. Жили от получки до получки, никакого «страхового фонда» не было. Если нужен был какой-нибудь экстренный расход, занимали у Марии Михайловны Блюменталь-Тамариной, у нее почему-то всегда были свободные деньги, и она охотно их одалживала.

Так же широко и беспечно жили, насколько я знаю, почти все члены компании. Все много зарабатывали и все, а некоторые больше того, что имели, проживали. Ни у кого из них не было ни дач, ни счетов в банке, ни ценных бумаг, ни бриллиантов (кроме тех безделушек, которые носили на пальцах и в ушах)».

Такая вот жизнь настоящей московской богемы.

Все это весьма гармонично сочеталось с работой – чай не в конторе служили: «Почти каждое утро, когда бы ни легли накануне, вставали не позже десяти часов, чтобы к одиннадцати быть на репетициях, заканчивающихся в четыре – половине пятого. В пять обедали, спали тридцать-сорок минут и бежали или ехали в театр, чтобы в семь часов начать гримироваться.

Очень ясно помню эти часы (с пяти до половины седьмого), когда в квартире сохранялась полнейшая тишина – все ходили на цыпочках, говорили шепотом. В половине седьмого отец быстро выходил из своей комнаты, выпивал, не садясь, стакан очень крепкого, уже остывшего чая (его наливали минут за десять-пятнадцать до этого), брал портсигар, в который я заранее закладывал за желтые резинки душистые папиросы, и, защелкнув его с громким треском, но абсолютно не больно о мою голову, на что я отвечал ему шлепком по задку (это была наша с ним традиционная ежевечерняя ласка-шутка), – быстрыми шагами шел в переднюю одеваться. Прodelьвал он все это абсолютно молча, только иногда громко прочищал горло,

как бы откашливался, пробуя голос. Глаза его смотрели куда-то мимо, весь он был другой, чужой, подобранный и сосредоточенный... И ведь работали не только в театре на спектаклях, репетициях и разных тренировочных занятиях. Часто ночью я просыпался от громкого, не домашнего, не разговорного голоса отца: он работал над ролью, пробовал какое-нибудь сильное место.

У нас одно время была кухарка; она, услышав его ночные занятия, заявила, что уходит, не желает служить в доме, где сумасшедший хозяин сам с собой по ночам разговаривает на разные голоса, смеется, плачет, скулит по-собачьи (отец работал тогда над ролью Анатэмы)».

Один из тех «своих» гостей, актер Ракитин даже посвятил качаловским костюмным упражнениям стихотворение:

Качалов! В грустный час досуга,
когда лишь прошлое в уме,
я вспомню ласкового друга
в домашней, легкой пижаме.
Ваш Дима, Нина Николавна...
Как я обедать к вам ходил
всегда к пяти часам исправно.
Качалов, я ведь Вас любил!

Илья Шнейдер вспоминал о том, как в 1920 году, участвуя в организации концерта, здесь навещал актера А. А. Горского. Этому предшествовала раздача «гонораров»: «Московские театральные деятели – братья Гутман обратились ко мне с просьбой взять на себя организацию особого грандиозного концерта для какого-то строительного эшелона, остановившегося целым железнодорожным составом на одном из московских вокзалов. Комиссаром эшелона был третий брат Гутманов, который не только хотел, чтобы в концерте участвовали крупнейшие имена, начиная с Шаляпина, но и имел реальные к тому основания, так как эшелон выплачивал гонорар артистам продуктами: пятипудовым мешком ржаной муки и еще чем-то, а Шаляпину, Гельцер и мне как организатору этого хлопотливого мероприятия вместо ржаной муки предназначался такой же мешок невиданной тогда крупчатки, к которой еще прилагался и совсем редкий предмет – бутылка водки.

Шаляпин согласился участвовать в концерте, и ему дали два мешка крупчатки и две бутылки водки.

После концерта комиссар оделил каждого из нас троих еще двумя французскими булками, охотничьими сосисками и маленьким пакетиком паюсной икры».

И вот, собственно, визит: «На другой день после концерта, узнав, что Горский опять слег, я пошел в его квартиру в том же доме графа Ностиц, где жила и В. И. Мосолова 1-я и где теперь установлена мемориальная доска А. А. Горскому. Я нес белую муку, отлитую в бутылочку из-под одеколона водку, несколько охотничьих сосисок и французскую булку, намазанную внутри икрой.

Горский лежал на кровати одетый, прикрывшись своим пальто, и был очень растроган моим визитом и «такими редкими вещами», как он выразился. Я очень торопился куда-то и сказал, что зайду вечером, но, придя вновь, сильно удивился, что больного Александра Алексеевича не оказалось дома. Горский вошел в свою квартиру почти вслед за мной, очень оживленный и возбужденный.

– Прекрасно поработал, – говорил он, потирая заолодевшие руки и не снимая пальто, – поразительно: какой маленький толчок нужен иногда творческому работнику, – чтобы пришло так называемое вдохновение!

Улыбаясь, он взял с окна одеколонную бутылочку с водкой, из которой была отлита микроскопическая доза.

– Видите? Я после вашего ухода выпил одну маленькую рюмку, закусил кусочком белой булки с черной икрой и отломил полсосиски... И вот эти вкусовые ощущения, давно не испытанные, эта согревающая капля вина вытолкнула меня из квартиры на улицу. Я почти бегом пересек мостовую до театра и провел чудесную трехчасовую репетицию «Лебединого», хотя все лебеди, принцы и я танцевали в пальто.

И он сделал нечто вроде пируэта и, остановившись, посмотрел на меня смущенным взглядом».

Еще один актер, Евгений Весник рассказывал историю, которая случилась в этом доме с Александрой Яблочкиной: «Глубокая ночь. Квартира Яблочкиной. На стенах, словно часовые, – многочисленные портреты известных людей. Среди них и портрет Александра Ивановича Южина, в которого хозяйка была без памяти тайно влюблена (по ее же словам).

В постели сладко спит великая актриса с чепчиком на голове. Вдруг ее кто-то будит. Просыпаться не хочется: сон уж очень хорош. Но видно, нужно, раз кто-то будит. Открывает глаза и... О ужас! Две рожи полупьяных мужиков! Пахнет перегаром, чесноком... «Давай драгоценности», – выхрипывает одна из рож...

Яблочкина показала рукой на большую красивую шкатулку. «Физиономии» открыли ее, их глаза алчно заблестели, ярче лежавших в шкатулке драгоценностей. Схватили ее и ушли. Вдогонку высоким, но мужественно звучащим голосом обворованная произнесла: «Вам за меня попадет!»

Сама Яблочкина рассказывала: «Дальше – снова сладкий сон...»

«Как это так?», «Как это возможно?», «Да после такого!», «Да я бы...», «Да ведь с ума можно сойти!» – тараторили все.

Яблочкина спохватилась: «Ой! Я забыла сказать, что в картонной красивой коробочке были бутафорские украшения под золото и алмазы. Цена им грош!»»

Такое вот было нелегкое время.

* * *

Кстати, история сего домовладения – еще до Пушкина с Раевским – очень даже необычна. В. Ходасевич писал: «На Большой Дмитровке, напротив Георгиевского монастыря, стоял деревянный одноэтажный дом со светелкой, принадлежавший лекарю Оттону Ивановичу Гилюсу – обрусевшему шведу. То был сутулый сумрачный человек с лысиной во всю голову. Лысину прикрывал он черной шелковой шапочкой, а на носу носил, разумеется, очки. Практика у него была небольшая – не потому, что он плохо лечил, а потому, что имел неприятнейшую привычку говорить больным правду. Вся Москва знала его историю с помещиком Козляиновым, у которого левая сторона была разбита параличом и которому Гилюс напрямик объявил, что ему остается недели две жизни; в ответ на это больной нашел в себе силу правой ногой дать лекарю такого тумака в живот, что тот отлетел на другой конец комнаты. С тех пор ему осталось лечить только мелких чиновников, мещан да дворовых, но и тех смущало убранство его кабинета, в котором стены были увешаны стеклянными ящиками с коллекцией бабочек и жуков, а в углу, где надо бы быть иконам, стоял скелет. Гилюс, впрочем, не слишком любил лечить – он посвящал свое время чтению и сам работал над большим сочинением, в котором намеревался доказать научно невозможность бытия Божия. В доме стоял острый запах медикаментов, книг, камфары, необходимой для сохранения бабочек, и ароматического уксуса, кипевшего в маленькой курильнице.

Семейство Гилюса... было невелико. Жена сбежала от него... оставив двоих детей. Мальчику было теперь 17 лет – Гилюс отправил его учиться в Германию. Тринадцатилетняя девочка осталась при отце, который сам был ее учителем. Ее воспитание не было похоже на обычное

воспитание тогдашних девиц. Елена знала французский и немецкий языки, имела хорошие познания в истории и географии, но главное внимание отца было обращено на математику, физику и химию».

Один же из гостей дома Гилюса посвятил скелету милое двустишие:

Я остова сего завидую судьбе:
Он сохранил все кости при себе.

Своеобразная все таки аура у этого места.

Дом многих театров

Здание оперы Саввы Мамонтова (Большая Дмитровка, 6) построено в 1894 году по проекту архитектора К. Терского.

Сразу же, как только был построен этот дом, в нем разместилась частная опера Саввы Мамонтова – человека, представлять которого нет ровным счетом никакой необходимости, настолько много сделал он и для Москвы, и для России. Одно из таких дел – частная опера. Современник писал: «За кулисами Большого театра царил бюрократизм, на сцене господствовала рутинная, оперы ставились без всякого разбора, небрежно и спешно.

Оживление в этой области искусства началось только после организации «Частной русской оперы».

Раньше центр тяжести лежал исключительно на инструментально-вокальных силах – слушатели обращали внимание только на голос и оркестр. Сама же постановка, так сказать, оформление спектакля стояли на втором плане.

И вот в «Частной опере» впервые в России были привлечены к участию в сценической постановке художники. Вместо шаблонных, грубо намалеванных, пышных, но безвкусных декораций перед глазами изумленных и очарованных зрителей засверкали чудесные полотна...

Здесь осуществилось гармоничное сочетание трех родов искусства – музыки, драмы (то есть вдумчивой игры) и живописи.

Открытие спектаклей «Частной оперы» состоялось 9 января 1885 года. Поставлена была «Русалка» (эскизы В. Васнецова), но к подготовке этого спектакля приступили значительно раньше. Еще с осени 1884 года шли усиленные репетиции этой оперы, потом «Фауста» и «Виндзорских кумушек» (эскизы В. Поленова).

Вместо банальных «оперных» костюмов (над чем так добродушно подсмеивался Станиславский, имевший к ним некоторое тяготение), мишурно красивых, театрально маскарадных, но безлично условных, появились стильные, выдержанные в духе времени одеяния: вместо хористов, специально наряженных для оперы, на подмостках задвигалась и зашумела подлинная толпа.

Словом, все было сделано, чтобы воскресить старину с ее своеобразием, чтобы со сцены веяло ароматом эпохи, чтобы глядел подлинный облик древней Руси или западноевропейского средневековья. Подготовка велась с огромным успехом и глубокой любовью к делу».

В этом театре состоялся московский дебют Ф. Шаляпина. Можно сказать, именно Мамонтов дал Федору Ивановичу «путевку в жизнь».

Триумф Шаляпина подробно описал художник Нестеров: «Однажды... ко мне в Кокоревское подворье, где в те времена жилали художники, зашел один из приятелей, и с первого слова полились восторги о виденном вчера спектакле в Мамонтовском театре, об удивительном певце, о каком-то Шаляпине, совсем молодом, чуть ли не мальчике, лет двадцати, – что певца этого Савва Иванович извлек из какого-то малороссийского хора, что этот новый Петров не то поваренок с волжского парохода, не то еще что-то с Волги... Я довольно скептически слушал гостя о новом феномене, однако вечером того же дня я слышал о нем те же восторженные отзывы от лица, более сведущего в музыкальных делах. Говорили о «Псковитянке», о «Лакме», где молодой певец поражал слушателей столько же своим дивным голосом – басом, сколько и игрой, напоминавшей великих трагиков былых времен.

Следующие несколько дней только и разговору было по Москве, что о молодом певце со странной фамилией. Быль и небылицы разглашались о нем. Опять упоминали о каком-то малороссийском хоре не то в Уфе, не то в Казани, где юноша пел еще недавно, года два тому назад. Кто-то такие слухи горячо опровергал и авторитетно заявлял, что он все знает допод-

линно, что Шаляпин извлечен «Саввой» из Питера, с Мариинской сцены, что он ученик Стравинского, дебютировавший неудачно в Руслане, а вот теперь «Савва» его «открыл» и т.д.».

Нестеров в конце концов не выдержал: «Достал и я себе билет на «Псковитянку». Мамонтовский театр переполнен сверху донизу. Настроение торжественное, такое, как бывает тогда, когда приезжают Дузе, Эрнесто Росси или дирижирует Антон Рубинштейн... Усаживаются. Увертюра, занавес поднимается. Все, как полагается: певцы поют, статисты ни к селу ни к городу машут руками, глупо поворачивают головы и т. д. Бутафория торжествует. Публика терпеливо все выносит и только к концу второго действия начинает нервно вынимать бинокли, что называется, – «подтягивается»... на сцене тоже оживление: там как водой живой вспрыснули. Чего-то ждут, куда-то смотрят, к чему-то тянутся... Что-то случилось. Напряжение растет. Еще момент – вся сцена превратилась в комок нервов, что быстро передается нам, зрителям. Все замерло. Еще минута, на сцене все падают ниц. Справа, из-за угла улицы, показывается белый в богатом уборе конь: он медленным шагом выступает вперед. На коне, тяжело осев в седле, профилем к зрителю показывается усталая фигура царя, недавнего победителя Новгорода. Царь в тяжелых боевых доспехах – из-под нахлобученного шлема мрачный взор его обводит покорных псковичей. Конь остановился. Длинный профиль его в нарядной, дорогой попоне замер. Великий государь в раздумье озирает рабов своих... Страшная минута. Грозный час пришел... Господи, помяни нас, грешных!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.